

Предисловие к «Нарциссу»

Я написал эту комедию в возрасте восемнадцати лет¹ и настолько долго воздерживался от ее публикации, насколько хватало моего уважения к репутации Автора. Наконец я отважился ее опубликовать, но никогда не отважусь высказать свое мнение о ней. Итак, здесь речь пойдет не о моей пьесе, но обо мне самом.

Несмотря на мое решительное нежелание говорить о себе, необходимо пойти на это, необходимо либо согласиться с обвинениями, кои мне были предъявлены, либо оправдаться. Я хорошо знаю, что силы не равны, ибо меня атакуют насмешками, я же умею обороняться лишь с помощью серьезных доводов; но что мне за дело, коли противники мои и не внимут им, — мне нужно лишь одержать над ними верх; стремясь заслужить уважение к самому себе, я давно научился обходиться без уважения других; впрочем, большинство из них прекрасно обходится без моего. Но, если мне безразлично, думают обо мне хорошо или плохо, то весьма важно не дать никому повода думать обо мне плохо, а для истины, которую я всю жизнь защищал, важно, чтобы ее приверженца не обвиняли, будто он борется за истину из прихоти или тщеславия, не любя и не понимая ее как должно.

Позиция, занятая мною в многолетнем споре, не замедлила доставить мне множество врагов *, более пекущихся о выгоде литерато-

* Как меня уверяют, многие осудили меня за то, что я именую своих врагов врагами, — это кажется мне вполне вероятным в наш век, когда ничто не называется своим именем. Я узнаю также, что каждый из моих врагов огорчается, когда я отвечаю не на его, а на чужие нападки, и доказывает, что я понапрасну теряю свое время, сражаясь с химерами. Это свидетельствует о том (как я уже давно догадывался), что они-то не тратят своего времени на чтение или выслушивание друг друга. Что до меня, то я взял на себя этот труд и прочел многочисленные писания, направленные против меня; я ознакомился со всем, начиная с первого ответа, коим меня удостили, и кончая четырьмя немецкими отповедями, из которых одна

ров, нежели о чести литературы. Я предвидел их появление и то, что их действия в данном случае будут свидетельствовать в мою пользу гораздо убедительнее, нежели собственные мои речи. И верно, они даже не потрудились скрыть свое удивление и злобу, узнав, что Академия столь некстати оказалась неподкупною. Тогда они пустили в ход против нее все: и наглые выпады, и даже клевету *, пытаясь свести на нет значение ее решения. Я также не был обойден их разглашательствами: большинство из них осыпали меня откровенной бранью: умные люди видели, с какой яростью, а все остальные — с каким успехом они предавались этому занятию. Другие, те, что половчее, понимая весь риск борьбы с открытым забралом против очевидных истин, весьма умело привлекли к моей собственной особе тот интерес, который следовало обращать лишь на мои убеждения, и разбор обвинений, на меня обрушенных, воспрепятствовал мне, в свою очередь, предъявить моим противникам обвинения, куда более веские. И вот теперь я должен ответить им раз и навсегда.

Они заявили, что я не верю ни единому слову из того, что проповедую, и, доказывая некие истины, сам руководствуюсь прямо противоположными. То есть я якобы провозглашал идеи столь экстравагантные, что, разумеется, в них может верить разве лишь сумасшедший. Вот высшая честь, которую они, таким образом, оказывают науке, основополагающей для всех прочих наук; попробуйте-ка те-

начинается приблизительно так: «Братья мои, что, если Сократ вдруг ожил бы и увидел, в каком цветущем состоянии находятся сейчас науки в Европе, — да что я говорю «в Европе», — в Германии! Да что в Германии, — в Саксонии! Да что в Саксонии, — в Лейпциге! Да что в Лейпциге, — в нашем Университете! Тогда, пораженный удивлением, трепещущий почтением, Сократ скромно уселся бы на скамью рядом со школярами и, смиренно внимая нашим поучениям, вскоре избавился бы от своего невежества, на которое столь справедливо жаловался!». Итак, я прочел все это, более того, я направил моим противникам ответы, — не слишком пространные, но, на мой взгляд, с них и таких достаточно. Я очень рад, что мои возражения так пришлись по душе этим господам, что они начали ревновать меня к своим коллегам. Тем же, кого шокирует слово «враги», я охотно обещаю впредь не употреблять его, пусть только соблаговолят указать мне другое, иначе как же мне называть тех, кто хулил мои убеждения либо письменно, либо (что более осмотрительно) устно, в тесном кругу дам и записанных остряков, в полной безопасности вдали от меня, а также тех, кто уверял, что у меня вовсе нет врагов, а пынче бранит меня за то, что я, обороняясь от нападков, сам себе наживаю их; послушать их, так выходит, на меня вообще никто не нападал. А пока пусть позволят мне величать моих врагов врагами, ибо, несмотря на учтивость нашего века, сам я груб и неотесан, как македонцы Филиппа ².

* В августовском 1752 года номере «Меркюр» можно прочесть опровержение Дижонской академии по поводу анонимной писанины, ошибочно приписанной Автором одному из членов названной академии.

перь сказать, что искусство рассуждения помогает открытию истины, когда им пользуются, да еще столь успешно, для доказательства явных глупостей!

Они заявляют, что я не верю ни единому слову из того, что проповедую; вот уж поистине новый и весьма удобный способ отвечать на аргументы, ни к чему себя не обязывая, отрицая даже теоремы Евклида, а также и все остальное, давно очевидное и доказанное. Лично мне кажется, что те, кто столь безрассудно обвиняет меня в противоречии собственным мыслям, не очень-то стесняются противоречить своим, ибо при всем желании невозможно обнаружить ни в моих произведениях, ни в моем поведении ничего подобного, как я это ниже и собираюсь доказать; стыдно не понимать, что когда человек говорит серьезно, то, надо думать, он верит в собственные утверждения, разве что его действия или речи явно свидетельствуют о противном, да и это еще не доказательство его неверия в свои принципы.

Итак, они могут сколько угодно кричать о том, что, высказываясь против наук, я шел наперекор своим убеждениям; на столь бесстыдное обвинение, лишненное как доказательств, так и правдоподобия, я знаю лишь один ответ, краткий и недвусмысленный, и я прошу их считать, что они его получили.

Они заявляют еще, что поведение мое противоречит моим принципам, и можно не сомневаться, что сим вторым обвинением они рассчитывают подкрепить первое,— таких охотников изыскивать доказательства несуществующих положений водится немало. Так, они будут втолковывать мне, что сочинителю музыки и стихов нехорошо порицать изящные искусства и что в литературе, которую я столь откровенно объявил презренным занятием, есть тысячи более похвальных дел, чем писание Комедий. Надобно ответить также и на это обвинение.

Во-первых, даже если согласиться с тем, что обвинение это справедливо по всем статьям, то оно может доказывать безупречность моего поведения, но ни в коей мере не свидетельствует о моей неискренности. Ежели было бы дозволено судить об убеждениях людей по их поступкам, то пришлось бы признать, что любовь к справедливости изгнана из всех сердец и на земле не осталось ни единого христианина. Пусть укажут мне человека, который всегда и везде действовал сообразно со своими принципами, и я соглашусь отречься от своих. Таков удел человечества: разум ведет нас к цели, страсти сбивают с верного пути к ней. И если в самом деле оказалось бы, что я изменил своим убеждениям, все равно никто не имеет права обвинять меня в том, что я когда-либо пошел против совести, или в том, что принципы мои ложны. Даже если признать справедливым этот пункт

обвинения, разве не достаточно было бы сравнить настоящее с прошлым, чтобы разъяснить недоразумение? Долгое время обманутый предрассудками моего века, я считал науки единственным занятием, достойным мудреца; я взирал на них не иначе, как с почтением, а на ученых с восторгом *. Я не понимал, что можно заблуждаться, занимаясь всю жизнь доказыванием верных истин, что можно поступать дурно, без конца толкуя о мудрости. И только поразмыслив и приглядевшись, я научился определять подлинную цену вещей, и, хотя в своих исследованиях я всегда приходил к выводу, что *satis loquentioe, sapientioe parum* ³, мне понадобилось много размышлений, много наблюдений и много потерянного времени, дабы избавиться от иллюзий по поводу всей этой никчемной напыщенной учености. Нет ничего удивительного в том, что в те давние времена предрассудков и заблуждений, когда я так высоко ставил репутацию Автора, я и тщился стать таковым. Тогда-то и вышли из-под моего пера стихи и большинство других моих произведений, а среди них и эта маленькая Комедия. Согласитесь, жестоко спрашивать с меня сегодня за те невинные шалости молодых лет, и уж во всяком случае несправедливо обвинять меня нынче в том, что я противоречу принципам, которые тогда и не были еще моими. Написанные мною вещицы давно уже не тешат моего тщеславия, и, осмеливаясь представить мою Комедию публике при подобных обстоятельствах, после того как я столь долго и предусмотрительно скрывал ее от чужих глаз, я тем самым ясно и недвусмысленно показываю, что одинаково пренебрегаю и похвалою, и хулою, коих она заслуживает, ибо давно уже перестал быть тем Автором, чьим детищем она является. Эти писания подобны незаконным сыновьям: их сперва ласкаешь и привечаешь, краснея при мысли о том, что приходишься им отцом, а после, распрощавшись с ними, отпускаешь гулять по свету в поисках счастья, нимало не заботясь об их дальнейшей судьбе.

Но довольно, мне кажется, рассуждать по поводу этих безосновательных предположений. Меня огульно обвинили в приверженности литературе, которую я же и поношу, и я поневоле должен был защищаться; даже если бы факты эти соответствовали истине, в них и

* Всякий раз, как я размышляю о своей былой наивности, я не могу удержаться от смеха. Читая любую книгу на темы морали или философии, я непременно приписывал автору то душевное благородство и высокие принципы, которыми она была проникнута. На всех этих великих писателей я смотрел, как на людей скромных, мудрых, нравственных, безупречных во всем. Из-за их писаний я почитал их самих едва ли не ангелами, к дому любого из них приближался как к святилищу. Наконец, я разглядел их как следует, у меня спала пелена с глаз, и это единственное мое заблуждение, от которого они меня излечили.

тогда нельзя было бы усмотреть ничего странного, — мне осталось лишь доказать это.

Я применю для того, как у меня принято, несложный и ясный метод, более всего подобающий при защите истины. Я вновь изложу существо вопроса, вновь поведаю о своих чувствах, и тогда посмотрим, смогут ли мне разъяснить, в чем же мои действия противоречат моим утверждениям. Мои противники, со своей стороны, будут столь неосторожны, что не замедлят заспорить со мною; еще бы! ведь они в совершенстве владеют искусством выступать за и против в каких угодно дискуссиях. Они начнут, как у них это принято, с того, что поставят передо мною другой вопрос, какой им заблагорассудится, и я должен буду решать его, как им это удобно; чтобы нападать на меня с меньшим риском, они принудят меня рассуждать не в моей манере, а в их собственной, и в результате очень ловко отвлекут внимание Читателя от основного объекта нашего спора, уведя его в сторону; сражаясь с призраком, они станут утверждать, что победили меня; и тем не менее я твердо намерен довести дело до конца. Итак, я приступаю.

«Наука ни на что не годна и приносит только зло, ибо зло заложено в ней самой. Она так же неотделима от порока, как невинность от добродетели. Все просвещенные народы всегда были развращены, все неразвитые народы всегда добродетельны; короче говоря, пороки гнездятся лишь в среде ученых, нравствен только тот, кто ничего не знает. Таким образом, единственное средство вновь сделаться порядочными людьми состоит в том, чтобы изгнать из нашего общества науку и ученых, сжечь наши библиотеки, закрыть наши Академии, наши Коллежи, наши Университеты и снова окунуться в варварское состояние былых веков».

Вот против чего так яростно восстали мои оппоненты, вот чего я никогда в жизни не утверждал и не думал, и нет ничего более противного моей системе взглядов, нежели эта нелепейшая доктрина, которую они столь любезно вложили в мои уста. Но вот то, что я всегда утверждал и что отнюдь не было до сих пор опровергнуто:

«Необходимо узнать, способствовало ли возрождение наук и искусств очищению наших нравов».

Я доказал, что нравы наши отнюдь не очистились *, и, таким образом, в основном ответил на этот вопрос.

* Когда я заявил, что нравы наши испорчены, это вовсе не значило, что нравы наших предков достойны всяческих похвал, но лишь то, что наши современные нравы намного хуже их. Общество предлагает нам тысячи соблазнов, и, хотя науки, быть может, являют собой самый щедрый и неистощимый источник их, неверно было бы полагать, что источник этот —

Но он заключал в себе другую проблему, более общую и более важную: проблему того всестороннего влияния, которое возрождение наук неминуемо оказывает на нравственность народа. И именно эту проблему, — а первая явилась лишь ее следствием, — я и предложил решать с особым тщанием.

Я начал с фактов и доказал, что во всем мире нравственность народов приходила в упадок по мере того, как среди них распространялась любовь к наукам и словесности.

Мало того, — отрицая тот факт, что эти явления всегда сопутствовали друг другу, естественно было отрицать, что первое из них повлекло за собою второе; и я же решился выявить эту взаимосвязь. Источник наших заблуждений в этом вопросе, как я доказал, заключается в том, что мы путаем наши неверные, слабые познания с той подлинной гениальной проницательностью, которая с первого же мгновения помогает безошибочно постичь суть явлений. Наука в ее абстрактном смысле достойна всяческого уважения. Неразумная наука людей заслуживает лишь насмешек и презрения.

У любого народа любовь к словесности почти всегда означает зарождение развращенности, которая растет с невиданной скоростью. Ибо любовь эта, заражающая целую нацию, имеет два источника, два неистребимых корня — лень и тщеславие. В разумно устроенном государстве каждый гражданин имеет свои обязанности и на выполнение этих неотложных обязанностей он должен направить все свои усилия, не тратя времени на фривольные измышления. В разумно устроенном государстве все граждане настолько уравне-

единственный. Гибель Римской империи, нашествия бесчисленных варваров столкнули меж собою многие народы, и столкновение это неизбежно должно было повлиять в худшую сторону на нравы и обычаи каждого из них. Крестовые походы, торговля, открытие Индий⁴, навигация, долгие путешествия и многие другие причины, которые не стоит перечислять, поддержали и усугубили этот беспорядок. Все, что облегчает сношения между нациями, несет одним не добродетели других, но преступления и пороки, меняя у обеих нравы, свойственные ранее только их нравственному климату и государственному устройству. Таким образом, науки не есть единственный источник зла, они только активно содействуют его распространению, и их неотъемлемым свойством является свойство придавать нашим порокам приятную видимость, облекая их в законную форму, мешая нам разглядеть их отвратительную сущность. На первом представлении «Злого человека»⁵ ни один человек не нашел, что главная роль имела отношение к названию комедии. Клеон казался вполне заурядной личностью. «Да он же, как все!» — говорили зрители. Этот гнусный злодей, чей характер должен был бы привести в трепет тех, кто имел несчастье походить на него, показался им всего-навсего шалопаем, а его злодеяния сошли за шалости только потому, что те, кто почитали себя вполне порядочными людьми, были похожи на него как две капли воды.

ны в правах, что ни один не может быть возвышен над другим, как более ученый либо как более искусный; он может удостоиться отличия лишь как достойнейший, да и это отличие чревато опасностями, ибо порождает обманщиков и лицемеров.

Любовь к словесности, возникающая из стремления отличиться, неизбежно порождает зло гораздо более пагубное, нежели то добро, которым она кичится; она делает тех, кто посвящает ей себя, очень мало разборчивыми в средствах преуспеть. Древние философы составили себе заслуженную репутацию, проповедуя людям закон исполнения своего долга и принципы добродетельности. Но вскоре истины эти настолько приелись, что им начали противоречить, только чтобы пооригинальничать. Таковы истоки абсурдных систем Левкиппов, Диогенов, Пирронов, Протагоров, Лукрециев⁶. Гоббс, Мандевиль и тысячи других таким же образом ухитряются отличаться в наше время и столь преуспели в опасном своем учении, что, хотя среди нас и осталось несколько настоящих философов, горячо желающих вернуть наши сердца на путь человечности и добродетели, все же страшно даже представить себе, насколько далеко ушел наш рассудочный век в своем презрении к долгу человека и гражданина.

Любовь к словесности, философии и изящным искусствам убивает в нас любовь к насущнейшим нашим обязанностям и к подлинной славе. Стоило однажды талантам возобладать над честностью и добродетелью, как каждый пожелал стать человеком приятным, и никто не желает быть человеком достойным. Отсюда возникает еще одно извращение: в людях вознаграждаются именно те качества, кои не есть их заслуга, ибо таланты наши рождаются вместе с нами, добродетели же нужно еще приобрести.

Эти-то нелепые предрассудки нам как раз и внушаются при воспитании с великою настойчивостью. Желая вдолбить нам любовь к словесности, нас терзают ею с юных лет: мы заучиваем правила грамматики задолго до того, как постигаем обязанности гражданина; мы знаем обо всем, что происходило до нас, вместо того чтобы знать, что должны делать сами; никого не заботит, умеем ли мы разумно действовать и мыслить, лишь бы мы зубрили и упражнялись; короче говоря, позволяется быть сведущим только в том, что ни к чему не служит; поистине, наши дети воспитываются, подобно атлетам древности, которых готовили к публичным состязаниям: развивая и закаляя свои мощные тела для выполнения никчемных упражнений, они никогда не использовали свою силу в каком-либо полезном труде.

Любовь к словесности, философии и изящным искусствам изнеживает вместе и тело, и душу. Кабинетные занятия делают людей вялыми, слабонервными: как же душе оставаться сильной, когда

бессильно тело?! В занятиях этих изнашивается мозг, мутнеет разум, уходят силы, истощается терпение, и одно это уже доказывает, насколько они противоестественны: именно так становятся трусами и лицецами, не способными устоять против горестей или натиска страстей. Каждый знает, как мало горожане приспособлены для ратных трудов, а уж о храбрости литераторов и говорить нечего *: репутация их на сей счет общезвестна. Самая ненадежная вещь в мире — честь труса.

Подобные размышления о слабости нашей натуры часто приводят лишь к тому, чтобы отворотить нас от благородных начинаний. По мере того как мы раздумываем о несчастьях человеческих, воображение обрушивается на нас их гнет, а излишняя предусмотрительность, отнимая у нас чувство безопасности, вместе с ним отнимает и мужество. И сколько бы мы ни делали вид, что застрахованы от всевозможных непредвиденных случайностей, все напрасно, ибо наука, претендуя на то, что снабжает нас новыми видами оружия для защиты от превратностей судьбы, пугает нас размерами этих воображаемых несчастий больше, чем это необходимо **.

Любовь к философии ослабляет все связи уважения и доброжелательства, соединяющие человека с обществом, и это, вероятно, худшее из зол, коими она чревата. Притягательность ученых занятий вскоре обесценивает все другие привязанности. По мере того как философ размышляет о человечестве, по мере того как он наблюдает людей, он учится оценивать их по заслугам, а ведь это довольно трудно — любить тех, кого следует презирать. И тогда он устремляет на собственную персону весь интерес, который нравственные люди испытывают к своим ближним: его презрение к другим обращается гордынею, его самолюбие возрастает в той же пропорции, что и безразличие ко всей остальной вселенной. Семья, родина — для него эти слова лишены всякого смысла; он уже не отец, не гражданин, не человек, — он философ.

Если научный и культурный прогресс убивает все живое в сердце философа, то примерно так же, с некоторыми поправками, обходится он и с сердцем литератора, и в обоих случаях с одинаковым ущербом для добродетели. Каждый человек, обладающий светскими талантами, жаждет восхищения окружающих, гонится за успехом и

* Вот современный пример для тех, кто упрекает меня в пристрастии к примерам из античного мира. Генуэзская республика, ища легкого способа покорить корсиканцев, не нашла ничего лучшего, как основать у них академию. Мне не трудно было бы продолжить эту ремарку, но это значило бы умалить сообразительность читателей, а я этого не хотел бы.

** Монтень. Опыты. 1. III, гл. XII.

завидует успехам собратьев по искусству. Публика обязана рукоплескать ему одному: я бы сказал, что он делает все возможное, чтобы добиться славы, если бы он не делал еще больше, стараясь отбить славу у своих соперников. Отсюда рождаются, с одной стороны, изощренный вкус и показная кротость, преувеличенная, неискренняя лесть, мелкие, недостойные, кокетливые уловки, умаляющие душу и развращающие сердце, а с другой стороны, ревность, соперничество, ненависть к уже прославленным писателям или художникам, коварная клевета, обман, предательство и все, что есть самого низкого и гнусного в пороке. Если философ презирает людей, то артист презираем вдвойне, и оба они соревнуются в презрении к окружающим.

Более того, вот самая удивительная и самая безжалостная из всех истин, кои я отдал на суд мудрецов. Писатели наши считают наивысшим достижением нашего века науки, искусства, роскошь, торговлю, законы и другие общественные явления, которые опутывают людей*, связывая их друг с другом жаждой личной выгоды, делая их друг от друга зависимыми, заставляя каждого из них строить собственное счастье на несчастьи ближнего. Явления эти, разумеется, объявлены весьма похвальными и выставлены в самом выгодном свете. Но, изучая их внимательно и беспристрастно, находишь много уязвимых мест, которые с первого взгляда незаметны.

Вот уж поистине чудеса: для людей сделали невозможною совместную жизнь без подсиживания, без вытеснения ближнего, без обмана и предательства, без взаимного уничтожения.

Нынешнее человечество без прикрас — неприглядное зрелище; даже если случится, что интересы каких-нибудь двух людей в чем-либо совпадут, то интересы остальных ста тысяч окажутся прямо противоположными, и есть только один способ уладить дело — обмануть или уничтожить их всех вместе. Вот она — мрачная причина насилий, предательств, подлостей и всех прочих ужасов, которыми чревато такое положение вещей, где каждый притворяется, что трудится на благо и счастье других, а сам только и думает, как бы достичь своего за их спиною или за их счет.

Итак, чего же мы, в результате, достигли? Да того, что тонем в потоках болтовни богачей и резонеров, то есть прямых врагов добро-

* Я сожалею о том, что философия ослабляет те связи общества, которые порождены взаимным уважением и приязнью, как сожалею и о том, что науки, искусства и прочие предметы торговли укрепляют эти связи, играя на жажде личной наживы. В действительности нельзя ослабить ни одну из этих связей с тем, чтобы другая тотчас же не укрепилась. Так что в этом нет никакого противоречия.

детели и здравого смысла. А взамен того мы утратили здоровье и неиспорченные нравы. Народ нищенствует, мы попали в рабство к пороку. Невиданные до сих пор преступления угнездились в сердцах людей, и для их свершения недостает только одного — уверенности в безнаказанности.

Странное и пагубное устройство, где собранные богатства облегчают их владельцам дальнейшее обогащение, где неимущему невозможно приобрести хотя бы самую малость, где порядочный человек не в силах выбиться из нищеты, где подлецы удостоиваются почестей и где надо непременно отрешиться от добродетели, чтобы тебя считали порядочным человеком. Я знаю, многие проповедники уже говорили все это до меня, но они говорили это, проповедуя, я же говорю, доказывая, они лишь заметили несчастье, я же вскрываю его причины и еще делаю весьма утешительное и полезное дело, утверждая, что пороки свойственны не столько собственно Человеку, сколько человеку, дурно руководимому *.

* Я заметил, что в мире расплодилось масса афоризмов, соблазняющих души простаков своим псевдофилософским звучанием. Они, кроме всего прочего, крайне удобны для того, чтобы завершать ими диспуты, стоит только произнести их, взяв важный и решительный тон, и тогда нет нужды даже вникать в существо вопроса. Например, такой афоризм: «Страсти людей повсюду одинаковы: повсюду людьми движет самолюбие и жажда выгоды, стало быть, и люди повсюду одинаковы». Когда геометры выдвигают некое предположение, которое от рассуждения к рассуждению заводит их в тупик, они возвращаются назад и доказывают, таким образом, ложное утверждение. Тот же метод в приложении к изложенному афоризму легко доказал бы его абсурдность, но давайте рассуждать иначе: дикарь — человек, и европеец — человек. Псевдофилософ тотчас же заключит отсюда, что первый ничем не хуже и не лучше второго. Истинный же философ скажет: в Европе правительство, законы, обычаи, выгода — все ставит человека в необходимость беспрестанно обманывать своего ближнего, все толкает его в объятия порока; чтобы стать мудрецом, он должен быть зол, ибо нет большего безрассудства, чем делать счастливыми жуликов, обездоливая при этом самого себя. Среди дикарей личная выгода играет такую же важную роль, как и среди нас, но она ими не осознается: любовь к обществу и необходимость совместной защиты от врагов есть единственные связи, их объединяющие, понятие же *собственности*, породившее столько преступлений среди наших так называемых честных людей, для них не имеет никакого смысла; ничто не понуждает их обманывать друг друга, публичное уважение — вот единственное их отличие, и они его заслуживают все. Вполне вероятно, что и дикари совершают дурные поступки, но невозможно, чтобы они привыкли поступать дурно уже потому, что это им не приносит никакой выгоды. Я думаю, что можно дать вполне справедливую оценку людских нравов, рассмотрев в совокупности те дела, что связывают людей меж собою: чем больше они торгуют, тем больше восхваляют расцвет своих талантов и ремесел, чем хитрее облапошивают друг друга, тем большего презрения они достойны.

Таковы идеи, которые я развивал и правоту коих пытался доказать во многих моих сочинениях на эту тему. А вот и выводы, мною сделанные.

Наука не создана для Человека вообще. Он без конца теряет путеводную нить в ее лабиринтах, а если иногда и добивается чего-нибудь, то почти всегда себе во вред. Он создан, чтобы действовать и думать, а вовсе не для того, чтобы размышлять. Размышление способно лишь сделать его несчастным, оно не дает ни радости, ни мудрости; оно заставляет его сожалеть о прошедшем, мешая наслаждаться настоящим; оно сулит ему либо счастливое будущее, чтобы поманить мечтами и подразнить желаниями, либо несчастное будущее, заранее угнетая его заботами и страхом перед ним. Занятия наукой развращают нравы, вредят здоровью, портят характер, часто затуманивают рассудок, и, даже если размышления чему-нибудь научат человека, все же это слишком слабая компенсация за весь вред, ими нанесенный.

Готов признать, что существуют несомненные гении, способные прозревать истину сквозь покровы, ее окутавшие; эти немногие избранные души умеют противостоять глупости и тщеславию, низкой ревности и прочим страстям, коими изобилует любовь к литературе. Ничтожная горстка тех, кому посчастливилось соединить в себе подлинные качества души, и составляет украшение и славу рода человеческого, и только им одним подобает предаваться научным и другим изысканиям во имя всеобщего блага, — это исключение, подтверждающее правило, так как, если бы все люди стали Сократами, наука не была бы им вредна, — правда, тогда они и не нуждались бы в ней.

Всякий нравственный народ, имеющий свою мораль, непременно уважает свои законы, а следовательно, не подвергает критике свои древние обычаи; такой народ должен старательно ограждать себя от наук, а пуще того от ученых, чьи сентенции, догмы и изречения очень скоро научат его презирать установленные обычаи и законы, а это неизбежно развращает любую нацию. Малейшее нарушение обычаев, пусть даже внешнее, пусть даже полезное для общества, всегда приводит к гибели морали. Ибо обычаи народа есть дух народа, и едва он перестает уважать их, его единственным кормилом

Я говорю это с сожалением: хорошему человеку нет нужды обманывать других, и дикарь является именно таким человеком.

*Illum non populi fasces, non purpura Regum
Flexit, et infidos agitans discordia fratres;*

*.
Non res Romanae, perituraque regna. Neque ille
Aut doluit miserans inopem, aut invidit habent?*

становятся страсти, единственным сдерживающим началом — законы, которые хоть и способны иногда останавливать преступников, но уж вовсе не способны сделать их добрыми людьми. Впрочем, стоит философии хоть раз преподать народу урок неуважения к законам, народ очень скоро обучается и вовсе обходить их. Я утверждаю, что это касается как нравственности целого народа, так и порядочности отдельного человека; это сокровище следует ревностно охранять, ибо его невозможно обрести вновь, однажды утратив *.

А если народ уже испорчен до известной степени, участвовали в том науки или нет, то надо ли устраивать гонения на них и оберегать от них народ, дабы сделать его лучше или хотя бы помешать ему стать хуже? Это другой вопрос, и я даю на него совершенно недвусмысленный отрицательный ответ. Ибо, во-первых, развращенный народ решительно не может вернуться в лоно добродетели, а потому не стоит и пытаться сделать хорошими тех, кто перестал таковыми быть, но надо стараться спасти для добра тех, кому удалось остаться неиспорченными. Во-вторых, те же причины, которые ввергли народ в испорченность, иногда помогают предотвратить другое, более страшное зло; так, например, человек, подорвавший свое здоровье неумеренным употреблением лекарств, вынужден все же прибегнуть к помощи медицины, дабы сохранить себе жизнь. Науки и искусства, развязавшие руки пороку, необходимы для того, чтобы помешать ему обернуться преступлением; они по крайней мере золотят эту пилюлю, мешая яду распространяться вовсе беспрепятственно. Они убивают добродетель, но объявляют ее общественным достоянием **, высшим благом. Они подменяют ее благопристой-

* Я нашел один-единственный, но поразительный пример в истории, который как будто противоречит этой мысли: это пример основания Рима, совершенного шайкою разбойников ⁸, чьи потомки от поколения к поколению превратились в самый высоконравственный народ, когда-либо существовавший на земле. Мне не трудно было бы объяснить этот факт, если бы здесь это было уместно, но я ограничусь замечанием, что основатели Рима были не столько людьми с испорченными нравами, сколько людьми, чьи нравы вовсе не успели сформироваться: они не презирали добродетель — она просто была им неведома, ибо сами понятия добродетели и порока являются понятиями общественными, порожденными отношениями между людьми. Кроме того, это замечание говорит совсем не в пользу наук, ибо из двух первых римских властителей, образовавших республику и установивших ее законы и обычаи, один не занимался ничем, кроме войн, другой же — только религиозными церемониями ⁹, а оба эти занятия весьма далеки от философии.

** Подобие это выражается в определенной мягкости нравов, которая иногда подменяет их чистоту; это некая видимость порядка, предваряющая ужасные потрясения, некое восхищение прекрасным, которое не дает истинно хорошему совершенно кануть в Лету. Это порок, прячущийся

ностью и учтивостью, но, опасаясь выставить ее под злодейскою личиною, выставляют в шутовской маске.

Не однажды высказывал я мнение, что следует поощрять и даже всемерно поддерживать существование Академий, Коллежей, Университетов, Библиотек, Театров и прочих развлекательных заведений, кои служат клапаном дурных склонностей и не позволяют людям обращать свою лень на черные дела. Ибо в той стране, где не осталось более ни добрых людей, ни добрых нравов, все же лучше жить бок о бок с жуликами, нежели с бандитами.

И теперь я спрашиваю: где же противоречие в том, что я одобряю любовь к тем самым наукам, коими сам занимаюсь? Давным-давно пора отказаться от намерения подвигнуть людей на добрые дела, лучше позаботиться о том, чтобы отвратить их от совершения дурных; надобно занять их мелкими глупостями, отвлекая от крупных бесчинств; надобно развлекать их вместо того, чтобы поучать. И, если сочинения мои воспитали хотя бы ничтожное количество порядочных людей, значит, я сделал для них все хорошее, что было возможно, и оказал гораздо большую услугу, чем те, кто предлагает людям виды развлечений, препятствующих их раздумьям о самих себе. Я почел бы за величайшее счастье ежедневно писать по пьесе и ежедневно быть за них освиистанным, если бы такой ценою возможно было в течение двух часов удержать хоть одного из зрителей от недобрых замыслов,— если бы таким образом я помог спасти честь дочери или жены его друга или состояние его кредитора, если бы я научил его сохранить в тайне признания доверившегося ему человека. Когда добрых нравов более не существует, остается уповать только на полицию, а все мы хорошо знаем, что Музыка и Театр отлично выполняют ее функции.

Трудно оправдываться, но я смело сознаюсь, что трудность эта не в оправдании перед широкой публикой или перед моими противниками, а в оправдании перед самим собою: ибо только я сам могу судить, заглянув в свое сердце, достоин ли я войти в тот избранный круг, о котором говорил, и в состоянии ли моя душа нести крест литературных занятий. Не раз чувствовал я опасность сей работы, не раз оставлял ее с твердым намерением более к ней не возвращаться; презрев величайший соблазн, я предпочел покой моего сердца единственным радостям, какие еще могли его согреть. И если среди клеветы, меня преследующей, в конце моего скорбного и тяжкого жиз-

под маскою добродетели,— не из лицемерия, чтобы обмануть или предать, но чтобы скрыть от самого себя под этой пристойной и любезной личиною свою гнусную сущность, созерцания которой он и сам страшится.

ненного пути я все же осмелился на какое-то время возобновить мой труд, то я по крайней мере не собираюсь уделять ему слишком большого интереса, ни придавать слишком большого значения, опасаясь заслужить на сей счет те же самые упреки, которые я делал другим литераторам.

Мне нужен был этот опыт, дабы завершить знакомство с самим собою, и я осуществил его без малейших колебаний. После того как я подверг мою душу испытанию литературными успехами, мне оставалось поверить ее неудачами. Теперь я знаю о ней все и не побоюсь обречь публику на самое худшее. Моя пьеса получила по заслугам, ее судьбу я предвидел ясно, но при всем том унынии, которое она мне внушила, я вышел с ее представления гораздо более довольным собою и несравненно лучше познавшим себя, чем если бы она имела успех.

Итак, я советую всем тем, кто так усердно осыпал меня упреками, сперва разобраться как следует в моих принципах, пристальнее приглядеться к моим поступкам, а уж после обвинять меня в противоречивости и непоследовательности. И если они когда-нибудь заметят, что я начал домогаться симпатий публики, что я бахвалюсь сочинением удачных песенок, что я краснею за дурно написанную комедию, что я стараюсь умалить славу моих соперников, что я с удовольствием порочу моих великих современников, тем самым опуская их до себя, дабы подняться до них, что я посягаю на кресло в Академии, что я заискиваю в женщинах, задающих тон в обществе, что я превозношу глупость сильных мира сего или что я, устав жить трудами рук моих, презрел избранное мною ремесло и стремлюсь обогатиться, короче говоря, если они заметят, что любовь к славе заставила меня позабыть о любви к добродетели, я прошу их уведомить меня о том, пусть даже публично, и обещаю им в тот же миг побросать в огонь все мои сочинения и покаяться во всех заблуждениях, которые им будет угодно мне приписать.

А пока я буду писать книги, я буду сочинять стихи и музыку, если почувствую к этому способность, найду время, силы и охоту; я буду по-прежнему открыто обличать зло, которое приносит литература и те, кто ее насаждают *, и я буду продолжать считать себя

* Я восхищен тем, как большинство писателей дали себя провести в этом вопросе. Стоило им увидеть, что науки и искусства подвергаются нападкам, как они сочли, что нападают на них самих, в то время как они, ничуть не противореча самим себе, могли бы согласиться со мною, а мнение мое в этом вопросе известно: хотя указанные явления и причинили большое зло обществу, ими все же следует пользоваться, как пользуются лекарствами при врачевании болезни, ими же причиненной, или как раздавливают ядовитое насекомое прямо на месте укуса. Одним словом, нет ни

при этом ничуть не менее достойным человеком, чем ранее. Правда, когда-нибудь обо мне скажут: «Сей признанный враг наук и искусств, однако, сочинял пьесы для театра»¹⁰, — и это высказывание, поверьте мне, будет самой едкою сатирою, какую только возможно сочинить, но не на меня, — а на мой век.

одного мыслителя, который, согласившись с предыдущей статьей, не смог бы одновременно найти доводы в свою пользу, как я нахожу их в свою, и этот способ рассуждения кажется мне тем более подходящим для них, что, между нами говоря, их очень мало заботят сами науки, лишь бы эти последние продолжали прославлять ученых. Тут дело обстоит точно так же, как с языческими жрецами: они держались за свою религию лишь постольку, поскольку она доставляла им почет и уважение.

28. *Кромвель Оливье* (1599—1658) — английский политический деятель. По его предложению был казнен английский король Карл Стюарт.
29. Руссо полемизирует здесь с суждениями Вольтера, высказанными им в трактате «Опыт о праве и духе народов» (1745).
30. См. примеч. 14, 16.
31. См. примеч. 13 к «Рассуждению о науках и искусствах».
32. Очевидно, имеется в виду д'Аламбер.
33. См. примеч. 86 к «Рассуждению о науках и искусствах».

Предисловие к «Нарциссу» (с. 64—78)

Написано в 1752 г. Впервые опубликовано в 1753 г. На русском языке опубликовано в 1959 г. в переводе Т. А. Барской. Печатается в переводе И. Я. Волевич по изданию: *Rousseau J.-J. Oeuvres complètes*. Т. II. — Paris. Bibliothèque de la Pléiade, 1961.

Работа подытоживает полемику Руссо с критиками «Рассуждения о науках и искусствах». Кроме публикуемого в нашем издании ответа одному из своих оппонентов — королю Станиславу — известны ответы Руссо и другим критикам «Рассуждения...»: «Письмо аббату Рейпалю, автору журнала «Меркюр де Франс», «Последний ответ г-пу Борд», «Письмо Ж.-Ж. Руссо о новом Опровержении его «Рассуждения», написанном одним из членов Дижонской Академии».

В «Предисловии» Руссо уточняет свои суждения относительно проблем морали, нравственного становления человека, развивает свой взгляд на личность, формирование ее под воздействием среды.

1. Комедия «Нарцисс, или Влюбленный в самого себя» написана позже — в 1733 г. В комедии добродетельная сестра и преданная возлюбленная излечивают юношу Валера от чрезмерного восхищения собственной красотой. На сцене «Нарцисс» поставлен был в 1752 г. Постановка провалилась и более не возобновлялась. В том же 1752 г. написано и «Предисловие» к пьесе «Нарцисс».
2. Имеется в виду Филипп II (ок. 382—336 до н. э.) — царь древней Македонии (359—336 до н. э.).
3. *Достаточно красноречия, мало мудрости (лат.)*.
4. Речь идет об открытиях XV—XVI вв. путей в Индию через Атлантический и Тихий океаны.
5. «Злой человек» — комедия французского драматурга Грессе. Написана в 1745 г.; впервые поставлена в 1747 г.
6. См. примеч. 13, 90 к «Рассуждению о науках и искусствах». *Протагор* (485—410 до н. э.) — древнегреческий философ-софист и скептик. *Лукреций Кар* (ок.

- 98 — ок. 53 до н. э.) — древнеримский философ-материалист, развивавший идеи Эпикура. В этике Лукреций вслед за Эпикуром обосновывал необходимость чувственных наслаждений, что дало Руссо повод обвинить Лукреция и Эпикура в распространении философии, якобы поощряющей разврат.
7. Фасци — народная честь — и царский его не волнует Пурпур, или раздор, друг на друга бросающий братьев;

 Рима дела и падения царств его не тревожат.
 Ни неимущих жалеть, ни завидовать — счастьем имущих (лат.) — Вергилий. Георгики, II, 495—499 (стих 497 опущен). (Пер. С. Ширвинского.)
8. Согласно легенде, между основателями Рима — братьями Ромулом и Ремом произошла ссора. Ромул убил Рема и стал первым царем Рима. Согласно другой легенде, римляне, не имевшие жен, пригласили своих соседей сабинян и похитили их дочерей. События относятся к середине VIII в. до н. э.
9. Согласно легенде, Ромул разделил римлян на патрициев и плебеев, создал войско, вел успешные войны. Второй легендарный царь Рима — Нума Помпилий учредил культы и занимался строительством храмов.
10. Ж.-Ж. Руссо принадлежит несколько пьес, среди которых наиболее значительными являются музыкально-драматические произведения: комическая опера «Деревенский колдун» (1752) и «Пигмалион» (1775). К ранним пьесам кроме «Нарцисса» относится комедия «Военнопленные» (1747) и ряд других.

О политической экономии (с. 79—99)

Работа написана в 1754 г. Впервые опубликована в 1755 г. в Париже в пятом томе «Энциклопедии». На русском языке впервые опубликована в 1777 г. В настоящем издании печатается не полностью (только I и II части, в работе три части), в переводе А. Д. Хаятина и В. С. Алексеева-Попова по изданию: *Руссо Ж.-Ж. Трактаты.* — М., 1969.

Трактат представляет собой программное сочинение, где изложены принципы, ставшие впоследствии знаменем радикальной демократии в революционной борьбе с феодально-абсолютистским режимом. Руссо поднимает голос в защиту не только правового, но и имущественного равенства людей.

В трактате Руссо высказывает суждения о воспитании. Уже на первых страницах работы ставится вопрос, кому надлежит формировать граждан, и дается ответ, что такая обязанность должна быть возложена прежде всего на общество и государство.